

СВЯЩЕННАЯ ЗОЛА

I

Мировую популярность имеют сказки о младшем брате, который торжествует над старшими и достигает вершин жизненного успеха. Еще ученые антропологической школы заявили, что бытовой основой сказочной идеализации младшего сына явился минорат – древняя система наследования, при которой дом (реже всё имущество) переходило к младшему сыну. Эндрию Лэнг писал: «Высказывалась мысль, что успех младшего в волшебных сказках (Contes des fees) является следом идей, возникших в то время, когда право самого младшего (Yüngsten-Recht или Borough English) преобладало в вопросах наследования. Эти правила наследования показывают, по меньшей мере, любопытное совпадение между сказками, в которых младший всегда связан с очагом, и обычаем, по которому очаг достается самому младшему из детей...»¹.

Минорат был широко распространен почти по всей Европе и Азии и противостоял другому, тоже распространенному социальному институту – майорату, утверждавшему преимущественные права старшего сына. По мнению Е.М. Мелетинского, мировой фольклор отразил не минорат в его общепринятом и полностью преобладающем состоянии, а борьбу минората против сменявшего его майоратного принципа, который сделал младшего сына обездоленным, униженным. «Сказки о младшем брате, преуспевающем и торжествующем над старшими братьями, отсутствуют в фольклоре некоторых культурно-отсталых народов, у которых сохранился минорат (например, у тибето-бирманских горных племен нага), и очень широко распространены у ряда народов, или совсем забывших о минорате (в Китае), или почти забывших о нем (у славян, германских народов)»². Отсюда Е.М. Мелетинский делает вывод, что социально-бытовой предпосылкой сказочного юниората явился не столько минорат сам по себе, сколько

минорат или борьба минората с майоратом (Мелетинский, 120 – 121, 146, 150 и далее).

Е.М. Мелетинский подверг узко этнографический подход к проблеме глубокой и обоснованной критике, показав, что при таком подходе нельзя объяснить, почему в сказках не отразился майорат и почему мотив младшего сохранился в сказках после падения миноратного принципа. «Общественная природа минората не объяснена буржуазной этнографией. Поэтому неизвестно, какова связь между миноратом и сказочным юниоратом» (Мелетинский, 67).

Однако интерпретация сказочного юниората у Мелетинского оставляет неясным ряд важных вопросов. Факты свидетельствуют, что идеализация младшего сына возможна и до возникновения майората, еще на стадии архаического минората³. Неясно и само возникновение архаического минората: бесспорным представляется, что известное преимущество младшего сына, последовавшее за преимуществом младшей дочери, оформилось едва ли не во всем роде человеческом задолго до самого появления принципа наследования, т. е. еще до зарождения личной собственности, ибо в эру чисто родовой собственности могло наследоваться нечто иное – нематериальное, о чем мы еще скажем далее. Не может оставить равнодушным и тот факт, что Е.М. Мелетинский, богато аргументировавший свою концепцию, как будто избегает отмечать и объяснять поразительное сходство между младшим братом в одной традиции и сироткой («грязным парнем») в другой. Между тем, это сходство полно глубокого значения.

Концепция Е.М. Мелетинского хорошо объясняет причину фиксации сказочного юниората («идеализации обездоленных» при распаде родового строя), но не объясняет его истоков. Видимо, он прав, когда связывает огромную распространенность сказочного юниората с протестом всех обездоленных против установления классового общества или, точнее, его первичной ячейки – малой семьи. Но чрезмерная осторожность внезапно сковывает ученого, когда изложение заставляет его порою бросить ретроспективный взгляд в ту темную эпоху, когда первобытно-родовой строй находился в расцвете, а младшая дочь и за нею младший сын уже становились героями мифических сказок.

Так каковы же истоки сказочного юниората? Почему мотив младшего практически является всемирным? Попытаемся заново

осветить эти вопросы, идя от наиболее изученного наукой и твердо признанного к более трудному и давнему. Для нас удобнее всего начинать с восточных славян.

Подсечно-огневое земледелие у восточных славян догосударственного периода требовало движения.

При подсечном земледелии площадь лесного пала, удобренная золой, несколько лет давала обильные урожаи, а потом начинала истощаться; нужно было брать топор и идти дальше. Этот способ земледелия был причиной неуклонного движения восточных славян по лесам – к Уралу. Но это не было сплошное переселение народа, типичное для кочевого скотоводства: вперед уходили самые сильные, а старики и маленькие дети, только «стар и млад», оставались на старой золе, довольствуясь низкими урожаями.

На этой старой почве сложился русский минорат. В Троицком списке «Русской Правды» говорится: «А двор без дела отень всяк меньшему сынови» («без дела» – целиком, без раздела). Местами в России минорат сохранялся до XIX века, т. е. свыше тысячи лет, – и только в крестьянской среде. В обычном праве дореволюционной России младший сын, если оставался при отце, получал в наследство двор, а иногда и другое имущество. Обделяемые миноратом старшие сыновья требовали компенсации: нередко наследник должен был помогать старшим братьям в постройке домов.

Естественно, в позднюю эпоху минорат рассматривался как преимущество или, по Е.М. Мелетинскому, «привилегия младшего в наследственном праве» (Мелетинский, 65). Но всегда ли так было?

Осмеливаемся утверждать обратное. В древности минорат представлял собой вовсе не привилегию, а тяжелое бремя. При появлении минората младшие сыновья уже были обездоленными.

Вдумаемся в обстоятельства догосударственной эпохи восточных славян, попытаемся осмыслить их исторически, каковое осмысление у нас слишком часто остается одним лишь лозунгом.

В ту эпоху «свободной» земли было много, потому что финно-угры Восточной Европы жили охотой и не палили своих лесов. В этих необозримых лесах славянину легко было срубить новую избу, и отцовское подворье не представляло для него особой ценности.

Средством обмена служили не быки, как у древних греков, а белки и куницы. Что тогда было богатством? Только новая земля.

Поэтому при минорате того времени обделенными оказывались не уходившие старшие сыновья, а отстававшие от движения младшие.

И все же этот «естественный» минорат был великим культурным завоеванием. Ведь ему предшествовала эпоха, когда стариков оставляли одних.

У многих охотничьих народов Севера, например, у индейцев Аляски, вынужденных постоянно передвигаться за стадами диких оленей, вплоть до XX века оставление одряхлевших стариков на покидаемых стоянках было жестокой жизненной необходимостью. Род, обремененный стариками, не мог бы выжить. Это оставление дряхлого отца с вязанкой дров для одного костра (на съедение волкам) уже было смягчающей заменой простого умерщвления стариков.

По сообщениям этнографов начала XX века, бушмены в голодные годы оставляли позади себя в пустыне старых женщин, рассматривая их как обременительных едоков. Перед ними ставили немного пищи и питья, но все равно: это оставление было равно смертному приговору.

В период становления Киевской Руси у некоторых восточнославянских племен еще сохранялось убиение стариков. Нет смысла отрицать этот факт, коль скоро весь мир разделяет эту вину. В древнем Риме человека шестидесяти лет называли *dopontanus* («годный только для жертвоприношения»). Все народы мира на ранних стадиях развития, когда жизнь была мучительно бедной и порою жестокой, убивали своих стариков⁴.

Сначала прямое убийство заменилось их оставлением на верную смерть, неизбежным при далеких переходах. Затем гуманизм наших предков одержал следующую победу: со стариками стали оставлять детей – или слабых, не «перспективных» для рода, или больных, не способных к дальним переходам. И это было спасением для детей, ибо до этого их тоже убивали.

В книге «Герой волшебной сказки» Е.М. Мелетинский говорит: «На ранней стадии развития семьи широко практиковалось убийство детей. Их убивали часто и в патриархальной семье, если дети отличались чем-нибудь необычным – какими-нибудь знаками на теле и т. п. Широко было распространено убийство близнецов. Иногда их просто оставляли без пищи и т. п. Вместе с тем существовало

представление о связи подобных «необычных» детей с богами, о вмешательстве бога в их рождение» (Мелетинский, 169).

Рождение детей с атаквистическими признаками («волчья пасть», «заячья губа», жабры, хвост и т. п.) породило представления о связях женщин с тотемными животными, например, с медведем (в русской сказке дитя такой связи – Ивашка Медвежье Ушко). Такие дети вызывали боязливое отвращение: «иногда их просто оставляли без пищи» – как и одряхлевших старух.

Потом тех и других стали оставлять вместе, и возник их естественный союз, с течением веков превратившийся в минорат. Явление это всемирного характера. Отсюда же происходит дружественное сочетание сиротки и «старушки», многократно отмеченное Е.М. Мелетинским в сказках индейцев Северной Америки.

С ростом благосостояния первобытной общины и с развитием домостроительства обычай существенно изменился. Бросая стариков и детей, уходящий род стал оставлять им минимум необходимого для поддержания жизни: старое жилище, небольшой запас еды, орудия труда. Быть может, понадобился длинный ряд веков, чтобы жестокий старый обычай принял эту относительно милосердную форму.

Восточные славяне на стадии подсечно-огневого земледелия уже очень редко убивали стариков. Обычно их оставляли в старой избе, вместе с младшими (видимо, слабыми или больными) детьми и запасом семян для посева. Младшие сыновья должны были покоить старость родителей, «с отцовского корня не сходить». Это было не правом, а обязанностью. На долю младших сыновей не выпадало ни стычек с чужью, ни самого тяжелого труда, но зато их уделом была вечная бедность и недостаток хлеба. Наследная нива была тощей и выпаханной.

«Меньшуки», «последыши», «поскребыши» занимали низшее место в социальной организации. Обреченный архаическим миноратом на относительно пассивную роль, младший сын рассматривался как неженка и лентяй: ведь род шел по земле, а «меньшук» на ней сидел. Презрение старших братьев к младшему, характерное для большинства сказочных сюжетов о соперничестве братьев, возникло вместе с появлением минората: оно старше самой идеализации младшего. Эта идеализация была реваншем за тысячи лет презрения и отразила аналогичный ход реального развития.

Младший, обычно третий крестьянский сын в русских сказках, – это известный тип дурака, запечника. Весь век дурак сидит на печи; Емеля даже к царю поехал на печи; Илья Муромец сиднем сидел тридцать лет и считался «безногим» (парализованным), пока чудесные странники не заставили его встать и пойти. Эти голодные, неумытые, не способные ходить «грязные лентяи» – отражение тех реальных младших детей, которые пользовались «привилегией» минората. Печальная то была привилегия!

Каков смысл мотива печи? Мы привычно полагаем, что русская печь – самое комфортабельное место в крестьянской избе, забывая, что у печи тоже есть своя история. В догосударственную эпоху восточных славян избы-полуземлянки топились «по-черному», а еще ранее в курной избе царил примитивный очаг. Трубы не было, дым выходил через входное отверстие. В наиболее архаических версиях русских и западноевропейских сказок младший сын сидит не на печи, а в золе у очага, как и стадияльно более ранняя замарашка, презираемая младшая дочь: впоследствии она превратилась в сказочную падчерицу у тех народов, которые утратили понимание причин всеобщего презрения к младшим дочерям.

В древности люди спали на теплой золе, как и поныне делают в лесах, перекладывая костер и ложась на горячее костровище (автору этих строк случалось ночевать таким образом в уральских лесах, в апреле). Некоторые ученые полагают, что привычка спать на теплой золе стала в сказках признаком ленивца. Если это и так, то это понимание более позднее. Древний смысл этого – иной. Вот факты.

Известную героиню французской народной сказки звали вовсе не мелодичным именем Cendrillon (Золушка): это имя ей дал хоть и фривольный, но эlegantный Шарль Перро. Народ звал ее гораздо конкретнее: Cuscendron, т. е. «грязнозадая», а точнее – «зад в золе» (заметим, что французское le cul несколько грубее русского слова «зад»). В норвежской сказке презираемый младший сын зовется Askeladden – «тот, кто гадит в золу». Между тем, мы знаем, что даже наши деды в суровые зимние ночи выходили из дома по физиологической надобности, когда им было всего три года. Кто же пользовался для этого зольником у очага? Только больные.

«Интересно, что зола употребляется в народной медицине как средство от парши. Печь, у которой возится Золушка и на которой лежит запечник, напоминает о связи очага с культом предков. Вместе

с тем сидеть за печью или в золе считалось унижением. Так, например, Одиссей (песня XVII) садится в пепел, чтобы подчеркнуть свое униженное положение» (Мелетинский, 233 – 234).

Болезнь, культ предков, унижение – вот с чем связано сидение в золе. Презираемые младшие дочери и сыновья, первоначально только больные или слабые, в архаических сказках носили не имена, а бранные прозвища скатологического характера, прямо указывавшие на расстройство их «низшей физиологии» и связанную с этим нечистоплотность. Однако у младших существовало и преимущество, тождественное их обездоленному положению: во время движения рода они оставались на старой золе. Она давала меньшие урожаи, но зато гарантировала покровительство предков.

Культовое значение золы объясняли обычаем трупосожжения или погребения покойников под очагом (у очага) в доме. Последнее гораздо ближе к истине. Но еще до того, как семейный очаг стал центром культа предков, золу сделал священной всемирный и общечеловеческий культ огня. Его следами объясняются, например, известные зольники (холмы золы, иногда с жертвенником в центре) скифской эпохи⁵.

В древнеегипетском культе Осириса пепел принесенных в жертву людей рассыпался на поля; в Риме пеплом жертвенных животных осыпали стада. Зола – это остаток от пиршества огня, едва ли не древнейшего «бога» палеолита. «Вера в стимулирующее влияние огня на животных прослеживается во французском обычае класть золу от костров на насесты, чтобы заставить наседок нестись, и в немецком обычае замешивать золу от костров в поило для скота, с тем чтобы он хорошо плодился»⁶.

Помощь предков (духов очага) сказочному запечнику или замарашке обеспечена близостью этого персонажа к священной золе домашнего очага. Умершие предки нередко сливались с духами очага: древнеримский ларарий (шкаф с изображениями ларов) помещался близ очага, а русские крестьяне верили, что «дедушка домовый» живет за печью.

Младший сын, сидящий в золе, оценивался отрицательно с точки зрения его старших братьев, как неженка, лентяй и грязнуля. Это бытовой план сказки. Но он же выглядит вполне положительным с точки зрения духов очага: это мифологический (главный) план

сказки. В мифологическом плане сама «нечистоплотность» младшего сына, измаранность золой есть знак его верности культу предков, его религиозности⁷.

Зола как продукт очищающего огня была известным средством люстраций (обрядовых очищений) у древних индийцев, евреев, греков, римлян, германцев и славян. В индийском варианте сказочного сюжета АТ 480 («Мачеха и падчерица») девушка, натершаяся при купании пеплом матери-луны, становится прекраснейшей в мире.

Пережиток люстраций сохранился по сей день в католическом обряде Пепельной Среды: по окончании карнавала, в первый день поста, верующие получают в церкви отпущение грехов, причем священник посыпает им головы пеплом. Это не знак траура, а древняя люстрация, ассимилированная католической церковью и вполне логически следующая за разгулом карнавала. В Пепельную Среду дурно выглядит человек, не замаранный золою: в нем легко узнают безбожника!

Вот почему бранные прозвища «грязных лентяев» имели скрытый второй смысл – религиозно-восхваляющий. Грязная внешность, неряшливость, болезнь, от которой вылезают волосы, патологически ранняя плешивость и т. п. в мировом фольклоре очень рано стали парадоксальными признаками иронического героя, т. е. героя, который скрывает от окружающих свою мудрость, чудесные способности или даже сами свои подвиги. Эти признаки подаются народной сказкой грубо, натуралистически: фольклор, в отличие от братьев Гримм или даже А.Н. Афанасьева, не признает ни эвфемизмов, ни фигуры умолчания.

Так, например, в русских сказках дан необычайно типичный набор: Иванушка-дурачок сидит за печью в золе, пепел пересыпает, сморкается, «сопли на клубок мотат»⁸. Те же самые признаки мы замечаем у фольклорных персонажей других народов.

Некоторые ученые считают, что образ эпического героя бурятов и монголов Гэсэра образовался путем контаминации персидского Герсаспа и джина Касура. «Любимое место Касура – куча золы, выброшенной из очагов». Вспомним зольники скифов – народа иранского происхождения! У джина Касура и Гэсэра отмечаются черты сходства, способность превращаться в зверей и птиц – и еще очень существенный признак Гэсэра: «Он пачкун, сопляк, спит где

придется»⁹. Бурятский Гэсэр – героизированный запечник, как и Илья-Муромец.

Но такой же подчеркнуто-иронической неряшливостью и грубой неприхотливостью («спит где придется») характеризуется и фольклоризованный образ древнегреческого народного философа Диогена Киника, жившего в бочке; в ослабленном виде эта характеристика перешла и на Сократа. У греков героизация запечника шла не по линии бранных подвигов, а по линии остроумия, мудрости и философски интерпретированного «трюкачества», так что некоторые анекдоты о Диогене и Сократе перекликаются то с Тилем Уленшпигелем, то с Ходжой Насреддином.

Зола древнего очага, печка Емели в русских сказках и бочка Диогена Киника суть явления одного порядка. Сказки такого рода распространены по всему земному шару, и никакая «теория заимствований» не объяснит нам эту бесконечную череду «сопливых» и «грязнозадых» героев, которых народ возносит от последнего унижения к сиянию славы. Несомненно, во всех этих сказках заключена социальная тенденция – мечта о возвышении униженных, о превращении «последних» в первых, о красоте и счастии для людей низшего социального положения.

Однако было бы наивным считать, что эта социальная тенденция сложилась еще в первобытнородовом обществе. Наоборот, она – результат распада этого общества, как совершенно правильно указал Е.М. Мелетинский, результат социально-экономического неравенства и ранней социальной борьбы, которых эта древнейшая общественная формация не знала.

Коренная ошибка Е.М. Мелетинского заключается в том, что зарождением этой социальной тенденции он датирует само возникновение архаического сюжета. Это совершенно неправильно, а в конечном счете и неисторично. Ибо явления неравенства и конфликта вообще старше развитой человеческой общности, даже старше человечества: они существуют уже в обезьяньем стаде.

В первобытнородовом обществе, конечно, существовало неравенство, но не социальное, а возрастное и половое. Человек не сразу превратился в человека. Биологические законы естественного отбора и видовой «целесообразности» действовали десятки тысяч лет, постепенно переходя на второй план и уступая место законам социальным. Мотив младшего возник еще в

ледниковый период, в эпоху охоты и примитивного собирательства. И древний прототип запечника, и особое положение младших людей, и культовое значение золы обязаны своим рождением величайшей революции – «приручению» огня; они сложились еще в каменном веке.

Социальная тенденция зрелого фольклорного мышления, о которой так хорошо говорил Мелетинский, использовала уже готовую сюжетную форму. Точнее говоря, она превратила архаическое содержание в форму для социального протеста.

Столь древним общим истоком объясняется факт несомненного генетического родства мотива младшего со сказками о «сиротке», которые обильно цитируются в труде Мелетинского, констатирующего некоторые черты сходства обеих традиций, но не ищущего этому сходству объяснений. Между тем, объяснение напрашивается само собой: и Младший, и Сиротка – это образы одного корня. Человек не произошел от обезьяны: и современная обезьяна, и Homo sapiens имели общего предка. Так и две указанные сказочные традиции опираются на один – общий для них – фольклорно-этнографический прототип.

II

Обратимся к сказкам североамериканских индейцев прерий, у которых сиротка – любимый герой. «Мальчик почти всегда изображается плохо одетым, грязным (отсюда его прозвище «грязный парень»), неопрятным (мочится под себя и т. д.). Однако к концу сказки сиротка обычно превращается в красавца, выкупавшись в чудесном источнике» (Мелетинский, 55).

Сказку индейцев пауни о «грязном парне», совершающем инкогнито воинские подвиги и притом не желающем, чтобы его узнали, Е.М. Мелетинский сопоставляет с европейскими сказками о младшем сыне: «Этот рассказ очень напоминает европейские сказки о герое, который скрывается под безобразной личиной и неузнанный совершает с помощью коня ряд подвигов на службе царя – будущего тестя (западноевропейскую сказку о золотоволосом юноше – № 314, 532 по указателю сюжетов Аарне, русскую сказку о Сивке-Бурке – № 530 у Андреева). Хромая кляча сиротки напоминает Конька-

Горбунка. Тем не менее, нет оснований предполагать европейское влияние...» (Мелетинский, 58).

Ученый прав: никакого влияния тут быть не может. Но вполне возможно предположить здесь общий источник: совпадение самостоятельно возникших сюжетов в данном случае слишком маловероятно. Индоевропейцы и предки индейцев вынесли протосюжет указанных сказок из глубин Азии. Первобытные люди переселились на американский континент около 30 тысяч лет назад, в позднем палеолите, когда уровень мирового океана был ниже, чем теперь, и Алеутские острова соединяли два континента почти сплошной цепью. Индейцы – потомки палеоазиатов: наука решительно исключает Америку, где никогда не было высших обезьян, из районов возможного антропогенеза.

Но тут могут возразить: коль скоро протосюжет столь древен, как могла в сказках индейцев появиться лошадь? Ведь доколумбовская Америка не знала лошадей. Совершенно верно, но индейцы Аляски и Канады знали ездового оленя, которого люди одомашнили задолго до лошадей. И хромя кляча из сказки пауни, и Конек-Горбунок происходят от оленя.

В архаических сказках индейцев фиксируется и безобразная внешность сиротки, и связь его с очагом, на которую многократно указывает Мелетинский, говоря о мотиве младшего. Так, еще в одной сказке пауни сирота, греясь у костра, опалил себе живот и за это был прозван «Обожженное пузо» (Мелетинский, 59). А в сказке племени вичита «на севере деревни в маленькой хижине живет с дедом и бабкой сирота Вескидахос («тот, кто мочится в постель»). Они бедны, и сверстники смеются над мальчиком» (Мелетинский, 59). Отметим те же бранно-восхваляющие прозвища героев, как в сказках о младшем сыне (Askeladden) или падчерице (Cucendron).

Общей чертой являются также «необыкновенные таланты (приобретенные обычно в результате «откровения»)» (Мелетинский, 63). Что означали в исчезнувшей реальности чудесные способности архаических сказочных героев? Они означали выделение из рода первой специализации – зачаточного ремесла и предсказания погоды. В ряде сказок сиротка имеет черты культурного героя (см. Мелетинский, 59). Кто же был «первым ремесленником» охотничьего рода? Ответ возможен лишь один: тот, кто не мог охотиться. Прежде всего это старики, но и на ремесло у них не доставало сил.

Ремесленниками (позже кузнецами) становились увечные, изуродованные зверями на охоте, чаще всего хромые. Ведь руки хромого сохраняют свою силу.

Кто лучше всего предчувствует перемену погоды? Разумеется, больные, например, ревматики или люди с ранениями костей, т. е. тоже бывшие охотники.

Могучий охотник – главная фигура палеолита, но уже тогда человечество открыло ценность больных и увечных. Рядом с Охотником, кормильцем рода, постепенно выростала фигура Искусника, которого род презирал, но в котором нуждался. Потомком Искусника в эпоху энеолита стал Первый Кузнец, тот хромоногий и закопченный Гефест, над которым боги Олимпа смеются, но без которого не могут обойтись. Не случайно он, как и положено измаранному в саже, женат на богине красоты.

Палеолитический Искусник добывал свою невесту искусством, хитростью (по-древнерусски искусник – это «хытр»), как его сказочный двойник – «необыкновенными талантами». А большой предсказатель погоды начал аккумулировать нарождающиеся шаманские функции¹⁰. От предсказания погоды он постепенно перешел к влиянию на погоду – главной задаче колдуна и шамана.

Типичной чертой быта колдуна в примитивных обществах является его изоляция: отдельное от рода поселение, запрет соприкосновения, безбрачие. Думается, это объяснялось не только и не столько священным трепетом перед особой колдуна или колдуньи, сколько отвращением к ним. Ибо с древнейших времен люди изолировали от себя, поселяли отдельно заразных больных, а из всех заразных болезней умели диагностировать только самые наглядные – кожные болезни.

Предки американских индейцев, как уже говорилось, в глубокой древности прошли через Чукотку и Аляску. Остался ли там след их верований? «Эскимосский и чукотский фольклор включает «шаманские» легенды <...>. В шаманских легендах подчеркивается могущество героя, но оно – результат владения искусством магии, а не внутреннее качество. Это могущество часто контрастирует с внешним видом шаманов, обладающих «священными» болезнями (чесотка и т. п.)» (Мелетинский, 41).

Вот тут мы невольно спотыкаемся об одно слово нашего выдающегося ученого: «контрастирует». Да, для нас, поклонников гигиены, вид кожнобольного «контрастирует» с его (предполагаемым) могуществом. Мы жалеем таких больных и испытываем невольную брезгливость к их несчастью. Но в первобытном обществе отношение людей к таким больным было гораздо сложнее.

Чесотка, короста, парша, несколько реже проказа и трахома в мировом фольклоре отмечают то культурного героя, то гонимого ребенка, который превращается в луну, то могучего шамана. У племени тома в Лесной Гвинее есть этиологическая легенда, в которой говорится: «Однажды пришел какой-то мужчина, который был духом, весь покрытый язвами, словно проказой»¹¹. Но проказа – в основном болезнь жарких стран, не известная Северу. У тюркских сказочных героев этого типа общим признаком служит парша. Хитрый насмешник тюркских сказок так и зовется – Лысый Паршивец. У некоторых тюркских народов паршивый юноша становится могучим богатырем. Так, в башкирской сказке «Золотая птичка» отважный герой Биктимер, победитель дракона, – это младший сын, страдающий паршой¹².

В эпосе и мифах Ближнего Востока кожнобольные еще более возвышены. При этом особую роль играет проказа.

Герой ассиро-вавилонского эпоса Гильгамеш за отказ разделить любовь могучей богини Иштар поражен проказой.

В библейской книге «Исход» как одно из чудес Моисея, предназначенных для укрощения фараона, выступает «белая рука»: этот мотив нашел отражение и в Коране. Перед лицом фараона Моисей кладет руку за пазуху и вынимает ее белой от проказы, кладет вновь – и вынимает чистой и здоровой (Исх., IV, 6 – 7; ср. Коран, VII, 101 и след., XXVI, 32). Но не менее удивительно, что печная зола, подброшенная в воздух Моисеем, окутывает пылью весь Египет, и на египтянах появляются гнойные язвы (Исх., IX, 8 – 11). Зола, народное лекарство от кожных болезней и средство люстраций, здесь превращается в причину язв, в средство, их вызывающее. С другой стороны, «белая рука» – реликт проказы Моисея. Но он здесь предстает не только как носитель болезни, но и как ее повелитель. В первобытном мышлении учеными многократно отмечалось тождество субъекта и объекта: в силу такого тождества

на больного отчасти распространялся почтительный страх перед самой болезнью. Именно больной становился шаманом, лечившим данную болезнь; и люди верили, что он владеет, распоряжается, повелевает своею болезнью. Это и отразилось в мотиве «белой руки» Моисея.

Во всем мировом фольклоре распространена идеализация героев с кожными болезнями; облик прокаженного может принимать сам Иисус Христос (см. легенду о св. Юлиане Странноприимце, обработанную Гюставом Флобером). Все эти язвы, парша, чесотка, раннее облысение – признаки носителей чудесных потенций, эпических героев, даже пророков, духов и богов. В то же время фольклор отразил изоляцию кожнобольных, отвращение к ним, насмешку. Это подлинно историческое свидетельство: изначально священное и нечистое не различались, профессия шамана была не только священной, но и презренной.

Понадобились тысячелетия для накопления и передачи примет, наблюдений, тайных знаний, заклинаний, обрядов и т. п., чтобы колдуны начали становиться все более и более нужными, влиятельными и полезными. Именно больные были первыми врачами; опыт самонаблюдения дал первые медицинские знания. Сернистый источник, травы, самородная соль, зола – вот первые лекарства.

В охотничьем палеолите искусник и шаман составляли единую общественную функцию, и выпадала она на долю увечных, т. е. не способных к охоте, поселенных изолированно, наполовину парализованных (см. Мелетинский, 116, о Фаралахи), страдающих недержанием мочи, паршивых, чесоточных и шелудивых. Род «утилизировал» всех. Слабых детей отдавали на воспитание старикам, колдунам, шаманам; здоровых растили для охоты. В случае эпизоотий промыслового зверя, катастроф, голода и т. п. колдунов убивали первыми, избавляясь от лишних едоков; отсюда столь распространенные обычаи карать колдунов и шаманов за несчастья рода – изгонять или убивать.

Союз мудрых стариков и особенно старушек с больными и презируемыми детьми, характерный для сказок многих народов, отражает доисторическую реальность, закон передачи родового опыта, без которого невозможен прогресс. А формулами передачи, удобными для запоминания и хранения, стали обряд и миф.

Прогресс был одновременно и материально-техническим, и духовно-нравственным. В сказках культурный герой учит сородичей новым приемам охоты и рыбной ловли, новым способам добывания пищи, строит первую лодку, приносит банан, или ямс, или оружие. Но в то же время эти сказки учат ценить силу слабости, и это было древнейшей формой гуманизма. Ибо силой слабости является разум, как доводом силы служат безумие и гнев.

Развитие религиозных представлений было необходимой фазой духовной культуры, первоначально синкретической. Зачатки знания о природе, искусстве и нравственности существовали нераздельно в формах культа. Самое раннее представление о духе или божестве – это обиженный ребенок, изгнанный, убежавший из рода больной. Свою силу он обретает лишь в ином мире.

Так, в меланезийском мифе «Геб» урод, который не мог найти себе жены, по кокосовой пальме влез на луну, спасаясь от схвативших его воинов; пока он лез, он превратился в красивого мужчину; он и теперь живет на луне, временами его можно увидеть. По старой памяти этого лунного красавца иногда еще называют «Саманити-патур», что значит «Чесоточный юноша»¹³.

Множество мифов и сказок объясняло различные на луне пятна кожной болезнью самой Луны.

Но все же почему у индейцев Северной Америки в функции гонимого и грязного героя, который становится красавцем и благодетелем племени, выступает не младший сын, а сиротка?

Потому что в раннеродовом обществе больше всего болели именно маленькие дети. Высокая смертность детей – неизбежность у культурно-отсталых народов. Дети или умирали, или выздоравливали: в том и другом случае они уже не могли быть колдунами. Потенциальным колдуном считался только больной ребенок. В первобытнородовом обществе с групповым браком сирот не было и не могло быть: все дети рода имели в качестве матерей всех женщин старшей возрастной группы, и все дети были между собой братьями и сестрами.

Больной ребенок исключался из своей возрастной группы, но не из рода. Его отдавали старому колдуну для воспитания-лечения. Ребенка тем самым изгоняли как можно дальше: территориально – на край стойбища, а социально – в самую отдаленную возрастную группу, к старикам и старухам, которым уже поздно было бояться

заразы ввиду близости их естественной смерти и минимальной «производственной ценности». В то же время изгоняемый использовался родом: его обрекали на профессию, которой ни один здоровый ребенок не хотел заниматься. Люди первобытного рода инстинктивно ненавидели специализацию.

Таким образом, древнейшим героем волшебной сказки был больной ребенок, посылаемый в науку к «лесному учителю» (колдуну) или выселяемый к старикам, живущим объедками родовых трапез. В дальнейшем это явление породило сказочный юниорат (мотив младшего), или фигуру сиротства, или изображение могущества карликов.

Современный этнограф Г. Райт, наблюдая колдунов культурно-отсталых народов, отметил, что колдун часто бывает «ущербным»: «Он может быть слабовольным или калекой, даже эпилептиком <...>. Зачастую он подвержен видениям, трансам и другим ненормальным психологическим состояниям. В некоторых племенах знахаря называют тем же словом, что и помешанного, поскольку он осуществляет свои функции с помощью тех же духов, что властвуют над душевнобольными»¹⁴.

По поводу этих наблюдений советский психолог Владимир Леви в своем предисловии к книге Райта говорит следующее: «Недаром в народных сказках колдун обыкновенно горбат и уродлив. Он должен выделяться из своей среды чем-то необычным. Но его «ущербность» с нашей точки зрения может выглядеть достоинством в глазах современников. Кроме того, многие физические и духовные увечья вполне сочетаются с редкими способностями и даже предрасполагают к их развитию. Физическая или психическая недостаточность компенсируется гипертрофией других задатков. Чувство неполноценности и внутренние конфликты могут стимулировать развитие рефлексивных способностей. Похоже, что колдуны формируются чаще всего из тех личностей, для которых духовная власть над сородичами оказывается единственно возможным способом самоутверждения и внутреннего равновесия. Так и выходит нередко, что личность необычная, патологическая находит свою «социальную нишу» в экстраординарной профессии»¹⁵.

Эти объяснения очень хороши, но Леви не ставил перед собой задачу исторического анализа явления. Роль болезни и ее преодоления в предыстории человеческой культуры по сей день

изучена недостаточно. Полагаем, что на определенной стадии развития древнейших человеческих коллективов к исходному, еще дочеловеческому делению на половые и возрастные группы прибавилось деление на здоровых и больных.

Животный мир такого деления не знает. Дельфины помогают раненому, ослабевшему товарищу подняться на поверхность воды и подышать; сходную помощь иногда оказывают друг другу иные животные. Но «спасательский инстинкт» действует кратковременно, и далеко не у всех животных. Обычно больное животное изгоняется из стада или уничтожается другими особями своего же вида. Исключение составляют только крысы: феномен «крысиного короля», совершенно беспомощного, но живущего заботами здоровых крыс, по сей день не объяснен наукой.

В первобытном человеческом обществе тоже практиковалось умерщвление слабых детей, стариков и больных, но люди рано осознали невозможность этой практики: больной располагает своими преимуществами и может компенсировать заботы рода о его пропитании. Ведь благодаря звуковой речи стала возможной устная передача коллективного опыта: человечество научилось суммировать сведения о болезнях и другую профилактически ценную информацию, доставляемую больными, например, предсказания погоды. Человечество нашло применение больным и слабым.

Задолго до появления личной собственности именно больные дети, впоследствии названные младшими сыновьями или сиротками, стали первыми наследниками. Оружие членов рода и орудия труда наследовались всем родом или погребались с покойником. Но знахарь лечил и учил больного ребенка, передавая ему в наследство знание, художество, миф и обряд. Здоровые члены рода не имели на это времени, поэтому знание стало горькой обязанностью больного (увечного); но это богатство хранилось в личном распоряжении наследника, который тем самым становился индивидуальнее своих братьев. Он выделился из коллектива, а потому и стал прототипом сказочного культурного героя. В мифах и сказках он нередко единственный, кто имеет имя, и тем самым противопоставлен родовому коллективу.

Социальная функция знахаря специальна, тогда как функции здоровых членов рода универсальны. Презируемый младший ребенок, став искусником (знахарем) или просто хранителем

родового культа, делается более личностью, чем его братья, чем и вызывает к себе, наряду с враждой, невольное уважение.

Исключительность младшего и двойственное отношение к нему старших братьев закрепились в развивающейся большой семье, в эпоху становления личной собственности. Первоначально преимущество младшего в наследовании мало значило само по себе, как мы это пытались показать на примере восточнославянского архаического минората: младший оставался экономически обездоленным, но ему принадлежала среди братьев инициативная роль. Постепенно она превратилась в исключительное право младшего наследовать семейный очаг и отправление культа предков, в привилегию наследования власти.

Отголоски этого мы видим в рассказе Геродота о родоначальниках македонской династии. Это были три беглеца из Аргоса, нанявшиеся пастухами к царю города Лебеи в Верхней Македонии: братья Гаван, Аэроп и Пердикка. Царица сама пекла им хлеб; но при этом хлеб юного Пердикки всегда вырастал вдвое. Она рассказала об этом мужу, и тот, поняв важность предзнаменования, призвал братьев-пастухов и велел им удалиться из страны. Те напомнили, что царь им должен заплатить за работу. И тогда произошло следующее.

Царь Лебеи указал на то место в доме, которое освещалось солнцем, проникавшим через дымовое отверстие в крыше, и сказал, «ослепленный богами»: «В вознаграждение отдаю вам вот это». Гаван и Аэроп стояли в растерянности, но Пердикка, младший брат, ответил: «Мы принимаем, царь, то, что даешь ты». Он обвел мечом на полу освещенное солнцем место, трижды почерпнул из него себе за пазуху и ушел вместе с братьями».

Тогда лишь один из советников объяснил царю, что именно сделал юноша и как разумно поступил. Царь впал в гнев и послал всадников в погоню за братьями, но те ушли от нее, поселились в иной области Македонии и постепенно завоевали всю страну. Именно Пердикка стал родоначальником династии, из которой произошли и Филипп, и Александр.

Что же произошло в хижине лебейского царя? Обведя мечом круг, Пердикка произвел символическое отчуждение этого места. А что он почерпнул за пазуху? Священную золу царского очага. Тем самым царь формально передал, а Пердикка принял право

наследования. Поэтому Геродот и говорит, что царь был «ослеплен богами»: он сам, по своей воле, назначил чужака своим наследником.

Геродот не вполне понимает суть своего рассказа, когда утверждает, что Гаван и Аэроп стояли в растерянности. Они и не должны были ничего говорить, так как инициативная роль в сюжете и преимущество наследования в изображаемой реальности принадлежали Пердикке по праву младшего.

Никакой вражды между братьями легенда не отмечает, но главным из них выглядит младший: это ситуация развитого минората, принявшего законную силу. Униженным и обездоленным был младший (больной) ребенок до минората; в минорате он взял социальный реванш и получил инициативную роль, первоначально обусловленную его семейно-культурным предпочтением; конфликт воскрес на новой почве с переходом от минората к майорату. Чудесный сюжет архаических преданий стал формой социального конфликта, а младший сын – обобщающей фигурой угнетенной массы.

Аристократия – это «старики», «старшина», «набольшие люди», а труженики – младшие, малые, «мизинные»: в терминах семейного неравенства описываются противостояния первых классов.

Е.М. Мелетинский раскрыл этот новый конфликт в сказках о младшем брате, но не поднял архаической основы сюжета, семейно-культурного предпочтения младшего. Ученый видел эту основу: «Не исключена возможность, что эта роль младшего в семейном культе могла быть одним из «этнографических» источников мотива: младший получил малую долю наследства, но она принесла ему счастье и вознаградила бедняка. Однако сказка подчеркивает уже не «священную» природу полученного младшим наследства, а то, что ему досталась меньшая часть, что он обездолен. <...> Иными словами, сказка о разделе наследства порождена главным образом не идеализацией минората, а осуждением майората» (Мелетинский, 150). Все это не убедительно: в геродотовской легенде младший принимает священное наследство, и нет никакого осуждения майората; в классической сказке Перро «Кот в сапогах», сохранившей пережитки тотемизма, наследство младшего тоже имеет особый характер, ибо кот в Западной Европе фольклорно привилегирован (ср. кота, который принес богатство и славу Дикю Витингтону). Таких примеров можно привести достаточно много. На

наш взгляд, концепция Е.М. Мелетинского страдает излишней социологизацией архаических культурных феноменов, в том числе и происхождения сказочного юниората.

То, что Е.М. Мелетинский называет «этнографическими» источниками сказочного сюжета, на деле является его раннеисторической основой. Сказочный юниорат древнее миноратного принципа наследования и самой семьи. Антропологическая школа в этом вопросе совершила ошибку.

Еще в каменном веке хромой, больной, слабый слились в образ презираемого младшего. Но со временем хромой стал Первым Кузнецом (богом), эпилептик – знахарем, чесоточный – шаманом или жителем луны. Возвеличенный младший стал героем мирового фольклора. На заре классового общества к нему были привязаны мечты «мизинных» людей о восстановлении справедливости. Его физическая ущербность и неказистая внешность стали символами социальной ущемленности и добровольно принятой маской до времени скрывааемой силы.

Сокрытие своего превосходства над господином, эта вечная тактика угнетенных классов, стала иронией Эзопа и Сократа, народных мудрецов, смеющихся над неправой властью.

Совершилась трансформация архаического мотива младшего, из него исчезли «чудесные», мистические элементы, отошедшие в монопольное владение институционализированного культа. Мудрость слабого, духовное превосходство младшего очистились от своего магического ореола, которым они были с необходимостью окружены в эпоху палеолита.

Общее у архаического протосюжета и поздней сказки, их семантический инвариант – превосходство добра над силой, причем добро мыслится как благое знание.

¹ Perrault's popular tales. Oxford, 1988. P. XCVI – XCIX (Introduction by A. Lang).

² Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958. С. 66. Далее сокращенные указания на эту работу даются в тексте.

³ См. об этом: Каскабасов С. Герои казахской волшебной сказки // Советская этнография. 1970. № 3. С. 110.

⁴ См. об этом: Зеленин Д.К. Обычай «добровольной смерти» у примитивных народов. Л., 1936; Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978. С. 42 – 162.

⁵ См.: Смирнов А.П. Скифы. М., 1966. С. 100 – 101, 163, 164.

⁶ Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 716.

⁷ Младшие дети были не только хранителями очага, но и хранителями родовых могил: только Ивану-дураку является покойный отец («Сивка-бурка»).

⁸ См.: Северные сказки. Сборник Н.Е. Ончукова. Записки Русского географического общества по отделению этнографии. Т. XXXIII. СПб., 1908. № 68.

⁹ Хомонов М.П. Бурятский героический эпос «Гэсэр». Улан-Удэ, 1976. С. 57 – 58.

¹⁰ Разделение функций произошло поздно и не повсеместно. Дж. Фрэзер в «Золотой ветви» говорит об африканском племени фан: «Вождь одновременно является знахарем, да еще кузнецом в придачу. Дело в том, что представители этого племени считают ремесло кузнеца священным и заниматься им позволено лишь вождям» (С. 102).

¹¹ Гэсо Пьер-Доминик. Священный лес. Изд. 2-е. М., 1979. С. 181.

¹² Башкорт халык ижады. Т. 2. Өфө. 1959. № 18.

¹³ Сказки и мифы Океании. С. 52 – 53.

¹⁴ Райт Гарри. Свидетель колдовства. М., 1971. С. 199.

¹⁵ Там же. С. 11.

ВЫРЕЗКА ЗЕМЛИ

Древние формы собственности обладали признаками типологического сходства у самых разных народов. Видимо, это сходство объясняется общими закономерностями исторического развития, а не контактами и не влияниями.

Так, во всем мире движимая собственность появилась раньше, чем недвижимая. Многие народы и по сей день не дошли до принципа частной собственности на землю. Личная собственность на землю впервые в истории возникла в античном Средиземноморье и осталась полностью чужда азиатскому способу производства. Те народы, у которых этот принцип получил развитие (прежде всего индоевропейские), перенесли на законы землевладения более ранние обычаи приобретения и наследования вещей.

Знаменитая максима римского права гласила: «Res nullius cedit rēto ossuranti» («Ничья вещь поступает в собственность того, кто